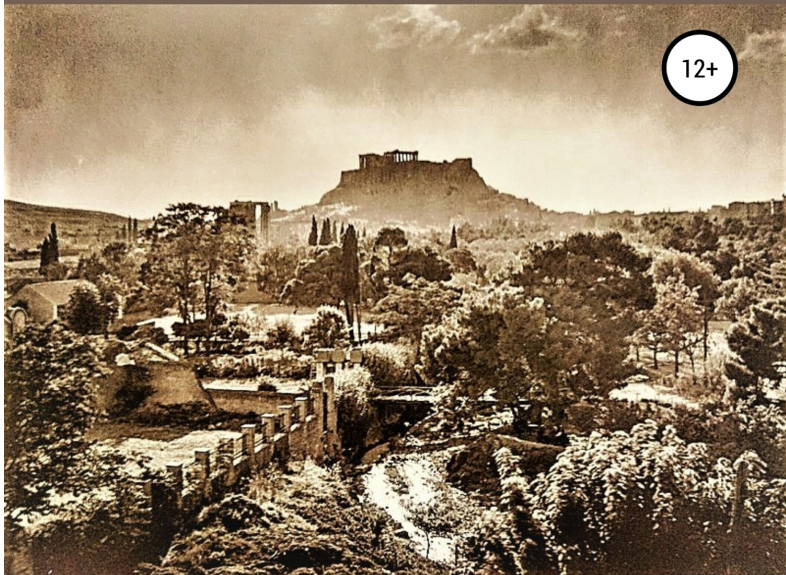


ЭММАНУИЛ РОИДИС

12+



О ПРЕВРАТНОСТЯХ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  
ИСПОВЕДЬ МОГИЛЬЩИКА

греческая новелла XIX века

# Эммануил Ройдис

## Исповедь могильщика

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=64826017](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64826017)*

*SelfPub; 2023*

### Аннотация

Греческая литература конца XIX столетия представлена выдающимися прозаиками, чьи новеллы и повести переводились на многие европейские языки и достаточно хорошо известны европейскому читателю. Опыт переводов произведений Эммануила Ройдиса, Георгия Визииноса, Иоанна Кондилакиса, Аргириса Ефталютиса на французский, английский и немецкий языки насчитывает уже целое столетие, многие произведения переводились неоднократно, поэтому имеют собственную богатую переводческую традицию. На русский язык представленные в серии произведения переведены с языка греческих подлинников впервые и дают российскому читателю уникальную возможность познакомиться с замечательными именами новогреческой литературы конца XIX века.

О переводчике: Бондаренко Василий Юрьевич – выпускник Салоникского государственного университета им. Аристотеля. Литературный переводчик. Длительное время проживал в Греции. Преподаёт древнегреческий и новогреческий языки. Автор научных статей по древнегреческой филологии.

# Содержание

Исповедь могильщика	4
О превратностях семейной жизни	36

# Эммануил Ройдис

## Исповедь могильщика

### Исповедь могильщика

### Повесть

Как могло случиться, что вот уже многие годы я навещаю одну и ту же могилу на Вафийском кладбище в окрестностях Афин, вряд ли заинтересует моего читателя, однако во избежание всяких недоразумений считаю важным пояснить, что покоится там замечательный человек по имени Антоний – к нему-то порой и приходил я на могилку: и не столько ради тех поистине добрых воспоминаний, что он оставил о себе, просто сама эта прогулка доставляла мне большое удовольствие.

.....

Просторная равнина неспешно тянется до самого Элеона, что в западной части города, местами её размежёвывают длинные ряды деревьев и разбросанные на значительном удалении друг от друга приземистые домишки, что делает этот пейзаж ещё роскошнее. О, если вам случится побывать там осенью, когда глубокое небо вскипает густыми свинцовыми облаками, а сырой порывистый ветер то и дело будо-

ражит дикие поросли высокой травы и камыша, когда пугливые утки бессовестно плещутся у всех на виду в полноводных дождевых лужах, а на непроходимо-грязных, разъезженных дорогах собираются многочисленные обозы с сеном и фруктовым мустом, сопровождаемые стадами откормленных на продажу индюшек, – не надо обладать богатой фантазией, чтобы представить себе, как в несколько шагов из самого центра Афин можно переместиться вдруг в глухую влахийскую провинцию. Если кто справедливо упрекнёт меня в излишней привязанности к скучным равнинам и облакам, к грязным лужам, к промозглому ветру, сырости и туману, то вправе сравнить меня с тем евреем, что некогда пренебрёг небесной манной, перепелиным мясом и яйцами, что щедро ниспослал ему Господь, предпочтя всему этому переселиться в египетскую пустыню и каждодневно изнурять себя голодом, питаясь дикими травами, луком и чесноком.

.....

Из-за частых и длительных поездок за границу, а также самых обыденных забот я на многие годы забросил свои прогулки и уже, казалось, забыл и о могиле друга, но вскоре вспомнил о нём и к удивлению обнаружил, что кладбищенский пейзаж сильно изменился: кипарисы вымахали огромными, число захоронений увеличилось в разы, а кресты стояли так густо, что не осталось и места для дикой ромашки и приземистых кустов аканта. Ко всему этому с прискорбием добавлю, что за время моего долгого отсутствия могила

пришла в полное запустение: деревянная оградка прижалась к земле, кувшины для цветов оказались вывернуты, а надпись на чёрном кресте стала едва различима, да и сам крест уже выцвел, краска облупилась, и железо переливало всеми оттенками красной ржавчины. Я собрался навести порядок и позвать местного старожила, что работал здесь могильщиком, но от одной вдовы, кадившей фимиам у соседнего надгробия, я узнал, что старик давно уж помер, составив компанию для некогда им же погребённых. Женщина любезно указала голову его преемника, что торчала в тот самый момент из подвала местного колумбария. Немного погодя показалось и тело, а затем длиннющие ноги – было достаточно нескольких шагов, чтобы их обладатель очутился рядом со мною.

Я намеревался по-быстрому объяснить, что готов предложить ему достойное вознаграждение за новую оградку и приведённую в порядок могилу, но пока я излагал свою просьбу, могильщик демонстративно разглядывал меня с ног до головы с настойчивостью, которая вызывала недоумение, поскольку, естественно, ничего достопримечательного в моем виде не было. Удивление мое ещё больше возросло, когда вдруг он обратился ко мне с нарочитым дружелюбием:

– Ты помнишь меня?

Я попытался рассмотреть его внимательнее – красивым он мне не показался: высоченный, как обелиск, сухой, будто мумия, и со сморщенной, как у бедуина, кожей. Слово на

бамбуковых ногах и с верблюжьей шеей, он мне напомнил тех отвратительно-аскетичных каирских арабов, неожиданная встреча с которыми всегда вызывала во мне только ужас. Пока я внимательно изучал своего собеседника, мои воспоминания стали трансформироваться и из страны Фараонов перенесли меня на лучезарные побережья эгейского острова. Вместо мутно-желтой реки я увидел изумрудно-бирюзовые воды; вместо минаретов, финиковых пальм и верблюдов возникли виноградники, цветущие гранаты, стадо коз, множество домашней птицы и свиней; но самое удивительное, когда сквозь неприглядное зрелище этого истерзанного трудом могильщика, больше смахивающего на каирского дровиша, стал проглядываться образ человека, с которым много лет тому назад я был знаком на острове Сирос – полный здоровья парень, крепкий во плоти, с зубастой улыбкой, по-молодецки вздёрнутыми усами, опоясанный кинжалом, да ещё частенько с маргариткой за мясистым ухом.

Этот образ пробудил во мне самые яркие и благостные воспоминания о купании в ласково-тёплом море, о душевных перекусах в густой тени прибрежного сада, где запечённую на углях рыбу, сочные смоквы и молодой козий сыр нам в изобилии подавала прекрасная хозяйка. И бухта, где мы купались, и сад, где сидели, и хозяйка, а ещё и самая добротная на Сиросе рыбацкая лодка принадлежали, бесспорно, этому человеку – вот только имя его я никак не мог вспомнить... В конце концов я вспомнил и его:

– Аргирис Зомас! – воскликнул я, потирая от удивления глаза!

– Цел и невредим! – отозвался расчувствовавшийся бедняга, смахивая вдруг выступившие слёзы.

– Как? Как ты здесь очутился?

Но вместо ответа он яростно сжал свои кулаки и прошипел:

– Да будь она проклята, эта политика!

Как всякий, кто пережил несчастье, он был полон решимости рассказать мне свою печальную историю, но уже стемнело, погода была отвратительная, а дорога к дому неблизкая. Я уже был готов с ним распрощаться, пообещав себе, что в следующий раз точно буду в состоянии внимательно выслушать все его жалобы на политику и политиков, как вдруг и без того неприятный и затянувшийся дождь начал усиливаться и превратился в настоящий ливень. Он пригласил меня укрыться в пристройке у кладбищенской церквушки и предложил угостить его – выпить чуть-чуть вина в качестве профилактики от сырости и холода. Этим «чуть-чуть» оказался полулитровый графин с двумя большими стаканами и горсть чёрных оливок, которые нам на наш потёртый и обесцвеченный стол накрыла слепая на один глаз продавщица из маленькой соседней кофейни с говорящим названием «Эпикур». Кроме выцветшего стола, там были ещё и две безликие табуретки. В комнате стоял густой сумрак, и мой приятель затеплил небольшой, похожий на церковное



кадило восьмигранный фонарь, который он успел умыкнуть с заброшенной, судя по всему, могилы.

Положение мое было несуразным, если не сказать более: выглядел я весьма комично, и у всякого, кто был знаком со мною лично, оно вызвало бы оправданную усмешку. Никому ещё не доводилось лицезреть меня сидящим посреди пустынно-глухого кладбища и распивающим с могильщиком бутылъ вина под тусклым светом надгробного светильника. Что до меня, то настроение моё совсем не располагало к улыбкам, и вскоре я впал в глубокое уныние. Мой собеседник напомнил мне о светлых днях моей нежной юности. Лишь только тогда мне удалось вполне прочувствовать всю правоту бессмертных дантовских строк:

*Нельзя сильней страдать, чем вспоминая счастье в дни несчастья.*

По правде говоря, другой, не менее блистательный поэт утверждал абсолютно обратное, когда написал, что счастливые воспоминания есть неотъемлемая часть утешения. Однако в ту минуту все вокруг мне упрямо твердило, что этот, другой, и понятия не имел, о чем пытался судить. Тело мёрзло, душе было тесно, дождь, не переставая, барабанил по деревянным доскам навеса, а кромешную уличную тьму периодически взрывали бледно-жёлтые всполохи молний, освещая лужи грязи, длинные ряды крестов и верхушки кипарисов. Но всего плачевнее была даже не погода и не место, а история, которую поведал мне мой приятель.

– Ты помнишь, какой красавицей была моя жена?

– Почему «была»? Неужели умерла?

– Нет, пока жива, только уже не красавица. Бывали времена, так со всего Сироса ко мне съезжались – кстати, и ты в их числе – к моему столу, в мои сады, и всё больше ради прекрасных её глаз, чем из-за моей рыбы! А я и не ревновал – она у меня была смирной, так что вы зря теряли своё время. Один у неё недостаток, но в том и моя вина – детей нарожала много: каждый год на сносях, восемь лет подряд, а напоследок – целую двойню. И чем больше она рожала, тем сильнее портилась её внешность, терялась стать, и тем меньше становилось тех, кто приезжал полюбоваться на неё, кто щедро платил за наш хлеб и яйца, за наш салат, смоквы и козий сыр. А тут и другая беда – рыба на Сиросе почти исчезла: рыбаки-то все перевелись, их и теперь не больше, чем юристов! Зато дочка моя старшая подросла, и начались хлопоты о приданом. В общем, переживаний было много. Как раз в ту пору выборы в стране объявили, и к нам из столицы пожаловал один отставной полковник, который в прошлом долгое время проработал на Сиросе инженером. Принялся он разъезжать по нашим сёлам с агитациями и как-то утром с двумя своими дружками заявился ко мне во двор. Может, помнишь, каким здоровяком я был? О моей злой сабле и тяжёлом кулаке ходили слухи по всей округе, я даже на спор мог поднять беременную ослицу!

Родственников повсюду у нас было много, чуть ли не в

каждом селе. Вот и тестя моего каждый знал – кожевник был знатный, а ещё женский угодник и подкаблучник. Как бы оно там ни было, всё это очень даже могло помочь общему делу. На какие только ухищрения не пускался этот речистый кандидат, чтоб я вступил в партию и возглавил ему агитацию, зато потом взамен он обещался выполнить любую из моих просьб. Заверял, что подыщет для меня хорошее место либо на Сиросе, либо в Афинах, что вызволит моего шурина из тюрьмы, где тот сидел за контрабанду, сумеет найти стипендию для моего сына и много ещё чего, уж даже и не припомню, но голова моя стала шальной, и снились мне зайцы в парчовых епитрахелях. В итоге я со всей своей многочисленной роднёй окунулся с головой в его предвыборную, как это называлось, кампанию. Мой двор превратился в избирательный штаб: с самого утра и до позднего вечера я носился с речами и увещеваниями, раздавал фотографии, программы и обещания, а при необходимости даже тумачи. Моя жена угощала всех спелыми арбузами, сладкими улыбками и томными взглядами. Как-то вечером она вернулась домой вся несчастная и со стыдом мне поведала, что во всей этой сумятице, в горячности и запале, стремясь переманить к нам другого, как и я, агитатора со всей его командой, позволила ему себя поцеловать и даже успела наобещать нечто большее. Мой фанатизм был настолько неумным, что я тут же ей всё простил, взяв лишь с неё обещание больше так не делать, но втайне для себя порешил, что сломаю челюсть этому

гаеру, как только закончатся выборы.

Шёл второй этап избирательной кампании, погода испортилась, и я предложил полковнику погостить у меня. После хорошего сытного ужина он поинтересовался моими делами. Я рассказал ему, что от хозяйства моего доход маленький, а выручку от рыбаков съедают расходы по содержанию лодок. Вот тогда-то он и посоветовал мне продать все мои виноградники и лодки, а на вырученные средства купить пелопонесских акций, что выставил на бирже какой-то там полномочный поверенный из Афин. С них всяко я получал бы по десяти процентов прибыли, сидел бы надёжно на правильном месте и отдал бы свою дочь за перспективного сержанта, что был у него на примете. Вот так складно мне напевал наш благодетель, да будь оно проклято то небо, что изрыгнуло его на нашу голову!

В конце концов выборы состоялись: нашему-то удача улыбнулась, но с трудом и из последних – всего на девять голосов получил больше, чем те, кому так и не удалось пройти...

– Аутсайдеров?

– Вот-вот... Могу утверждать, не хвастая, что без моих голосов он бы и стал тем самым аутсайдером! В день, когда я пришёл с ним попрощаться, от народа было не продохнуть – кого там только не было: караульщики, педагогини, кожевники, фонарщики, дьячки, паникадильщики, мусорщики и даже собачьи душегубы.

Депутат держал списки, отмечал в них имена и личные просьбы каждого. Подошла и моя очередь. «Для тебя, – говорит, – ничего достойного на Сиросе не осталось – лучше перебраться тебе в Афины!» Пообещал, что обязательно меня пристроит. На Сиросе, где меня все знали, было бы, конечно, сподручнее, но прельстила меня солидная должность и сержантские эполеты жениха. Поутру следующего дня я пустился устраивать свои дела. Целый месяц мне понадобился, чтобы найти покупателей на землю, птицу, коз и свиней. Всем бумаги перво-наперво предоставь, а уж только потом пойдут смотреть вживую. Выгадал в конечном счёте восемь тысяч драхм, приобрёл тридцать акций на железную дорогу, что по знакомству с «полномочным» отложил мне выкупить на конец месяца наш депутат, и на следующий день спозаранку погрузил я на пароход жену и семерых наших детей (двойняшки померли ещё младенцами), а сам вернулся, чтобы отдать свой последний должок, что оставался пока неоплаченным. Подыскал себе крепкую дубинку и поспешил спрятаться за изгородью у входа в кофейню, куда имел привычку хаживать и посидеть вечером за нардами тот недоумок, что целовал мою жену. Я дождался, пока он выйдет, и обрушился на него, сдавив рукой глотку, чтоб и звука мне не проронил, а потом так его отделал, что и сейчас, верно, помнит.

На следующее утро мы прибыли в Афины. Я разместил семью в маленькой гостинице и поторопился на встречу с депутатом. После такой сердечной дружбы на Сиросе я был

убеждён, что он мне искренне обрадуется, но в Афинах он вдруг стал очень важным: тут же с порога заявил, что «министерские вакансии не могут быть доступны по причине жёстких требований на соответствие профессиональным критериям для их соискателя», тем не менее обещал, что постарается найти мне скромную должность, и предложил зайти к нему через восемь дней. Вот, таким вот тоном: всё очень сухо, и никаких тебе «садитесь», «курите» или «как дела у супруги» – я уж молчу про стипендию сына и обещанного нам сержанта. Пытался найти предлог, чтобы ещё немного там задержаться – глядишь, и вспомнит что-нибудь напоследок, но ему явно было не до меня. От этой встречи на душе оставался нехороший осадок, я вынужденно попросился, а через восемь дней пришёл к нему снова: мне объяснили, что депутат заседает в Парламенте, на следующий день в офицерском Собрании, а ещё через день – я уже не вспомню точно где. Целых три недели, изо дня в день, утром и вечером, я пытался застать его даже дома, и только дважды удалось с ним поговорить, но кроме немногословного – «я прилагаю все усилия, наберись терпения» – ничего от него не добился. Откуда же взяться этому терпению, когда у тебя семеро малых полуголодных детей – все до одного со здоровым звериным аппетитом – сидят в тесной, грязной и вонючей дыре, кишашей клопами, да ещё и за десять драхм в сутки! Прошли ещё пятнадцать дней, но ничего не менялось. Наличные средства у меня закончились, и успел накопиться долг

за гостиницу. Глубокой досадой стала новость (о ней прочёл в газетах), что все мои соотечественники, поддержавшие депутата и оставшиеся на Сиросе, были полностью обустроены: один работал в полиции, другой – в налоговой, третий – в таможене на весах, и даже тот, кому я устроил взбучку, был определён снабженцем в лечебнице – вот только до меня очередь не дошла!

Это-то мне и объяснил держатель гостиницы: «В тех, кто остался на Сиросе, он всегда нуждаться будет – свой авторитет там поддерживает, а ты здесь, на чужбине, чем можешь ему навредить? Боюсь, что он попросту водит тебя за нос». От этих слов кровь моя вскипела, бросился я к депутату, полный решимости поговорить с ним по-мужски: потребовать, сказать, что не могу больше ждать, что закончились у меня и деньги, и терпение. Пока шёл, продумывал свои слова, по ступенькам вбежал, не чуя ног, готовый выпалить ему всё сразу от порога, но дом его был пуст, окна распахнуты настежь, и только босой солдат, бормоча что-то под нос, начищал мраморный пол в гостевой. От солдата я узнал, что «г-н полковник направлен Парламентом в Фессалию для контроля инженерно-гидравлических работ и пробудет там в течение месяца и, возможно, даже дольше». Целый месяц?! Я здесь дни и даже часы с минутами считаю!

Вечером того же дня я распродал немногочисленное столовое серебро, что у нас было, расплатился с держателем гостиницы и перебрался с семьей в старую развалюху, что на-

шёл неподалёку от обсерватории, заплатив вперед за аренду по пятнадцати драхм в месяц.

Оставались у нас тридцать акций, меж тем с женой была договорённость, что мы сами к ним никогда не притронемся и сохраним всё для приданого дочерям. Случилось так, что старшая дочь сильно заболела, и нам потребовался врач, хорошее питание, новый матрас, одежда и тёплые покрывала. Стало ясно, что лучше нам остаться без приданого, чем без дочери. Залез я в свой сундук, с горечью отсчитал три акции и отправился на биржу. Прежде чем войти внутрь, возле двери обнаружил большую чёрную доску, на которой мелом фиксировалась стоимость: против графы с записью «жел. дороги» обнаружил цифру «сто пятнадцать». Я остановился как вкопанный – здесь же нет и половины от цены, что я отдал за них два месяца тому назад! Ещё питая в сердце надежду, что я просто запутался в записях, я обратился за помощью к местному маклеру, но оказалось, что ошибки нет, правда, цена стояла вчерашняя, а сегодня акции вновь упали и стоили уже девяносто драхм. Таким жалким, наверное, был мой вид, что человек пригласил меня в соседнюю кофейню выпить по стопочке раки. Что там внутри творилось – суматоха и галдёж! Одни твердили, что на рынке просто паника и надо ждать отката к прежним ценам, другие спорили, что не только железные дороги, но и другие акции ничего не стоят и вскоре окончательно обесценятся.

В течение нескольких недель я ежедневно ходил на бир-



жу, отслеживая цены и утром, и вечером. Каждый раз сердце мое билось как сумасшедшее, но, прежде чем посмотреть на доску, я осенял себя крестом и тайно клялся поставить по свечке у каждой иконы, если цена на акции поднимется вновь. Ничего не помогало. С девяноста драхм уже следующим днем цена упала до восьмидесяти двух, затем до семидесяти, пятидесяти, сорока, двадцати, а уж после их вообще никто не хотел ни за какие деньги. Слов не найду описать те бессонные ночи, что мне пришлось пережить: тут не то чтобы не сомкнуть глаз, усидеть на одном месте сил не было, а в той тесной дыре, где мы жили, даже по комнате не пройти – сидели и спали друг на друге. Дети недоедали, засыпали с трудом, и, чтоб никого среди ночи не будить, я дожидался, пока все заснует, и уходил из дому вон дать волю нервам, пока бродил по глухим пустошам неподалёку.

Шёл январь, нередко ночи я проводил вне дома, забираясь глубоко в гору. Я не чувствовал ни дождя, ни усталости, но меня изводила мысль о будущем семьи, я чувствовал ожесточение, когда вспоминал, с каким тяжёлым трудом в течение двадцати лет я по крупичкам собирал все свои средства и в холод, и в непогоду, копаясь в земле и выбираясь в море, и как в одно мгновение месяца я лишился нескольких тысяч драхм из-за каких-то негодяев.

Как-то раз выследила меня жена и, просидев всю ночь возле двери в ожидании, обрушилась на меня с упрёками, что моё, мол, сумасбродство перешло всякие границы! Вот

тогда-то мне и пришлось всё рассказать, но я сильно пожалел об этом – лучше бы она из ревности ругалась, чем видеть её несчастной и заплаканной. Напоследок распродали то немногое, что у нас осталось: ковры, посуду, одежду и даже вышитое золотом свадебное покрывало. Я уже рассказывал, что никого в Афинах мы не знали: настал момент, когда после долгих мытарств и безуспешных поисков работы я нашёл верёвку – не вешаться, конечно, – и отправился с ней в Капникареи, на площадь, к маньятским беженцам. Так первый на Сиросе добрый молодец превратился в нищего подёнщика! По правде говоря, благодаря тем крохам, что получал, никто из моих не помер, хоть вся семья и голодала. Ты голодал когда-нибудь?

– Э, частенько бывало – учитель на еду наказывал за невыученные уроки.

– Разве это шутки?! Голод – это когда на девять человек одна единственная чёрствая буханка, что посчастливилось добыть на базаре. Это когда старый плесневелый кусок заедают пряной луговой травой, что насобирали за день. Это даже меньше, чем половина от половины, чтоб насытить детские желудки! Когда тебе голодно, и заснуть не можешь, а спишь чутко и нервно. Сколько раз приходилось слышать, как дети бредят во сне, как грезится им еда вдоволь.

– Про сон и хлеб – это же как у Данте в описании Ада!

– Ну, про Данте я не слышал. Одно только точно знаю, что нет страшнее ада, чем видеть, как страдают те, кого сильно

любишь, но помочь им ты ничем не можешь. Как-то утром узнаю из газет, что вернулся из поездки полковник – я тут же напрямик отправился к нему домой. Было уже десять, но депутат только поднялся с постели, весь такой блаженный и розовощёкий, в расшитой феске на сияющей лысине. Попивал он кофий и забавлялся со своим котом. Поначалу даже показалось, что он с трудом меня узнал, что вполне справедливо: голод, лишения и бессонные ночи высушили меня до костей, я стал половиной от самого себя, и вряд ли кто теперь взял бы меня даже в подёнчики, а несчастья сделали меня еще и покорным.

Сначала издалека, вежливо и очень по-хорошему, чтобы не рассердить не дай бог, стал я выкладывать ему всё, что наболело, но вскоре я заметил, что его в большей степени занимали кошачьи игры, чем моя история. Вот тогда я не выдержал, схватил за шкирман его кота, швырнул злобно в сторону и принялся шуметь на депутата, что своими акциями и своей поганой ложью, всякими стипендиями и женихами он разорил нас, пустил по миру, вот мы нищенствуем и голодаем, и если теперь он не пошевелится, то я сперва прирежу его, а потом повешу себе на шею камень и брошусь в море.

Принялся он срочно меня успокаивать, но в этот самый момент дверь отворилась и в комнату вошёл низкорослый, весь сияющий, надушенный и холёный тип с замечательно уложенным пробором и пухлыми, как у мавра, губами. Полковник подозвал его к себе и начал с ним о чём-то перешёп-

тываться, затем он обратился ко мне: «Подходи вечером, часам к пяти, найдёшь председателя местного управления, у которого есть для тебя вакансия». В назначенный час я был уже на месте. Председатель поинтересовался, знаком ли я хоть чуть-чуть с садоводством, и на моё утвердительное, что в этом-то, как раз, я превосходно разбираюсь, посадил меня в свой экипаж и привёз вот в ту самую кофейню напротив, с вывеской «Суэта суэт». Чуть позже к нам подсел местный поп, а с ним – статный парень в фустанелле. Председатель представил меня моим новым знакомым и тут же поторопился заверить, что вопрос мой положительно решён: в месяц буду иметь по шестьдесят драхм и даже, возможно, подработку, поэтому с завтрашнего утра, без проволочек, могу приступить к своим обязанностям. Время было позднее, начало смеркаться, и всё, что удалось мне разглядеть вокруг, – это несколько силуэтов могучих кипарисов, выглядывающих из-за блекнувшей в потёмках глухой ограды. В тот момент мне казалось, что там был зеленеющий сад, но наутро, когда я туда вернулся, чтобы взяться за новую работу, обнаружил вдруг, что не садовник им был нужен, а могильщик!

Это занятие мне было совсем не по душе. Ты ведь знаешь, что жители Сироса всячески избегают иметь дело с усопшими и обходят за версту стороной все могилы и кладбища, потому гробокопателей и плакальщиц своих не имеем, зато привозим их с Миконоса или Санторини. Даже самый бед-

ный, самый падший из наших предпочёл бы собирать конский навоз, чем прикоснуться к катафалку или трупу. Я поначалу даже боялся, что жена мною станет брезговать, но её заботой было лишь пропитание детей, так, в общем-то, она и принудила меня согласиться.

Поначалу я страшно мучился, вкапываясь в эту чёрную могильную землю, полную костей и прогнивших гробовых досок. Как тут не вспомнить наши краснозёмы, пахнущие горным тимьяном, лохматые ряды цветущих гранатов, мои курятники, моих свиней и всё, что мне было так близко и дорого! Всё это было моим миром, а теперь я могильщик – чудовищное превращение!

Первым моим погребенцем, которого мне суждено было закопать, стал как раз тот самый двадцатилетний парень, единственный сын своих родителей, чью могилу ты давеча рассматривал. Его бедная мать рыдала белугой. Мои глаза тоже начали раскисать, а у пономарей и священников мой вид вызывал лишь тихие ухмылки. Я стал бояться ночей, когда оставался один, еда мне навязчиво пахла ладаном, а во сне меня кошмарили мертвецы – все те, кого когда-либо пришлось хоронить.

Вскоре я свыкся с положением и уже не шарахался покойников, но и жалости к живым я тоже перестал испытывать.

– Значит, теперь тебя всё устраивает?

– Устраивает?! – сверкнул раздражённым взглядом Зомас. Сделай милость, слушай дальше! Чтобы быть поближе к

этой сволочной работе и меньше платить за аренду дома, мы из нашей лачуги в горах, где хотя бы воздух был чистым, перебрались в зловонные вафийские закоулки к старому мосту. Все насмеваются над жителями Сироса, что, мол, спят они в обнимку со свиньями, но ответь мне по совести, видел ли ты что-нибудь ужаснее этих вот свинячьих кварталов, где проживает афинская беднота? Летом всё покрывается густым слоем липкой пыли, а в ливень образуются запруды по самое колено из жирно-грязных сточных вод. Повсюду невыносимо смердит, ведь каждый глухой переулок становится всеобщим отхожим местом. А где им ещё справлять нужду?! Но никому до них нет дела, а врачи, архитекторы, полиция, мэры и префекты – все воспринимают их с отвращением как неизбежность, с которой приходится мириться. Возле моего дома лавка мясника – он прямо посреди улицы режет глотки бычкам, козам, овцам, и вот стекают по дороге два больших потока: один кровавый, чёрно-красный, а другой – грязно-зелёный от желчи и кишечного дерьма. Тут же и невычищенные шкуры развешаны сохнуть, а запах от них такой, что наизнанку воротит, если нос свой не успеешь заткнуть. Соседи тихо возмущаются, но тут даже полиция бессильна! Да что ему до властей-то? Вся его мясная лавка увешана ружьями, пистолетами, саблями, тесаками и ятаганами, а посреди всей этой красоты – портрет Премьер-министра в лавровом венке, словно есть у мясника по его высокой дружбе моральное право плодить среди нас инфекции, и не дай-то

боже сделать ему замечание – прирежет, как ягненка, чтобы другие помалкивали и неповадно было. Но нет среди людей больших свиней, чем бакалейщики и продавцы в овощных лавках! Самое страшное, что они такие не одни – их много, и у всех есть свои покровители! Как-то летом, в засуху, воды совсем недоставало, да и та, что была, – одно горе. В результате всех нас подкосил брюшной тиф, и один за другим, словно мухи, стали умирать дети. В раз четырёх похоронил – одного за другим! Вон в том самом углу, рядом с могилой, где ты любовался белыми гвоздиками.

– Да-да, я заметил: там в ряд четыре креста вкопаны.

– Погоди, еще немного терпения! Мы четверых-то оплакать не успели... возвращаюсь с работы и ещё издали вижу, что у нашего дома множество народу столпилось: женщин, мужчин, стариков и детей, всяких служивых и посыльных в сине-красных костюмах. Поначалу сердце в висках застучало, ноги ватные, но смог пересилить себя, пустился бегом, а когда приблизился, первое, что увидел, – жена моя навзничь, словно бездыханная лежит, а возле две соседки суеются и растирают ей щёки уксусом, чтоб в чувство привести. Потом рядом и другое тело заметил, всё в кровавом месиве, – это был мой Яннис, это ему депутат стипендию посулил. Мать за покупками сына отправила, и тут же возле дома его угробил извозчик, что словно бешеный мчался по переполненной людьми улице. Через два часа наш Яннис скончался. Всем кварталом его оплакивали, проклиная и извозчиков, и

полицию. Патологоанатом мне доложил, что, по его подсчётам, прохожих в Афинах давят больше, чем в Индии тигры загрызают людей. А чему тут удивляться?! Да и кучеру как быть?! У бедняги ж ведь дел невпроворот, да и покровители тоже имеются – вот и гробит он нас своими колёсами под стать мяснику и бакалейщику, что изводят всех гнилостными болезнями и смрадными испарениями. Погребая своего пятого ребёнка рядом с его четырьмя братьями, размышлял я с горечью и обидой, что так и не привелось мне утешиться и глубоко закопать хоть какого-нибудь министра или депутата с их помощниками – всех этих потворщиков убийцам и душегубам. Даже кладбища у этих негодяев отдельные – элитные!

Со временем жизнь наша успокоилась, только жена всё безотрадно тосковала и неслышно вздыхала, когда делила между детьми сытные куски хлеба – еды теперь хватало на всех. Дочь выросла и стала красавицей – точь-в-точь как её мать, когда сводила всех с ума своей задорной красотой. Только вряд ли моя дочь смогла бы кого впечатлить – неразговорчивой она была и тихая, как икона. Устроили мы её на фабрику женских головных уборов с двадцатью драхмами ежемесячного жалования. Нашего единственного сына Петра приняли наборщиком в издательство с окладом чуть больше, чем у дочери, – на эти вот заработки, к моим гробовщицким, мы и жили всей семьёй, а ещё мне удавалось набивать полные карманы сухарями, что оставляли посетители на мо-



гилах родственников... И тут вдруг в стране объявили мобилизацию в Фессалию и сына забрали на подготовку. Мы себе места не находили, все глаза выплакали, а его переполнял восторг, и в упоении ему грезилась слава, погоны и награды – всё рвался крушить пашей, обогащаться и захватывать в полон их гаремы.

С полковником мы не виделись с тех самых злополучных дней, и я, к счастью, даже начал про него забывать, но неожиданно получаю извещение, где он просит срочно зайти по какому-то чрезвычайному делу. Я послушался. И вновь на его подлой физиономии распознала притворная улыбка, и вновь он принялся обхаживать меня – один в один, как на Сиресе! Сначала учтиво упрекнул, что я несправедливо предал его забвению, не захожу к нему в гости, в то время как он с благодарностью помнит и думает обо мне, а также полон решимости подыскать мне работу поинтереснее, и что уже готов жених для моей дочери – в общем, всё, как и обещал! Гадать долго не пришлось, всё это значило только одно: на Сиресе скончался старик-губернатор, и срочно понадобилась моя помощь – списаться со своим тестем и многочисленными родственниками, чтоб те поддержали его человека на выборах. Ни одному его слову я, конечно, не верил и едва сдерживался, чтобы не придушить его – столько несчастья он нам принес, но, памятуя о том, что я могу потерять свою работу, если он захочет мне навредить, я пообещал подготовить в ближайшее время все необходимые письма. Вечером

за документами к нам зашёл молодой прапорщик – крепкий, ухоженный, с хорошей выправкой, – это и был жених для нашей дочери. Мне и жене он сразу же приглянулся, особенно когда мы узнали, что в наследство от матери ему досталась небольшая пекарня в самом центре Афин.

Ума не приложу, что в нём такое разом обнаружила наша дочь, но ей жених совсем не понравился! Попытались с ней поговорить, но она ни в какую: нехорошее, говорит, у него лицо, а ещё глаза разные – один темно-зелёный, а другой – иссиня-чёрный. Это меня вывело из себя, я потерял всякое терпение и принялся ей выговаривать, что всё это уже ни в какие ворота... и негоже для дочери, когда родители последние крохи для семьи собирают, быть такой ханжой и придирааться ещё к цвету глаз! Она вдруг осеклась и приумолкла... в конечном счёте, пообещала нам, что выполнит любую нашу просьбу.

Но самой большой нашей заботой был Пётр! Поначалу он регулярно писал нам, а тут уже целый месяц не присылал о себе никаких новостей. Мы всячески пытались связаться с ним, хоть что-нибудь выяснить, но всё тщетно, без результата – никто ничего про него не знал, или, быть может, что-то скрывали и не хотели рассказывать. Дочь пробовала гадать на лепестках ромашки, жена, словно одержимая, раскладывала один за другим пасьянсы, и вот однажды на пороге дома возник боевой офицер-капрал, который, как выяснилось, был сослуживцем Петра: в руках он держал амулет – тот са-

мый, что мать повесила сыну на шею в канун его отбытия на фронт. Офицер сообщил нам, что у нас больше нет сына и что до последнего момента он был с ним рядом и лично закрыл ему глаза, когда тот после трёх недель, бесконечно долгих и невыносимых, наконец-то отмаялся на больничной койке фронтового госпиталя. Капрал тоже выглядел слабым и обескровленным, на его бледно-жёлтом лбу то и дело мелкой росой выступала густая испарина, но временами он словно взрывался, багровел от возмущения и злости, когда описывал все унижения той войны, что пришлось испытать его солдатам, где самым позорным и мучительным были не поражение и не враг, а голодная нужда и нестерпимая дизентерия.

Из семи детей, что я привез в Афины, кроме дочери у нас нё осталось никого, да и та особо не испытывала радости от такой жизни. Она и вправду, чтоб успокоить нас, очень старалась быть приветливой с прапорщиком, но тем всё более казалась нам глубоко несчастной. Как-то раз, когда женщин не было дома и мы с женихом остались один на один, он, улучив момент, обратился ко мне с откровенным вопросом о приданом. Оказалось, что распроклятый депутат наобещал жениху ещё и приданого, в надежде потешить нас его вниманием, пока не закончатся выборы на Сиросе. Я честно ответил, что, благодаря добрым советам полковника, мы остались без гроша в кармане и я ничего не смогу ему дать, кроме руки дочери и своего отцовского благословения. Воспри-

нял он это вполне хладнокровно и продолжал нас навещать, как и прежде, но манеры его серьёзно поменялись: с дочерью стал обращаться надменно, по-барски, за словами не следил, то и дело приобнимет и даже лез целоваться. Все это выглядело отвратительно, но удручала нас наша нищета, и мы упрямо надеялись, что всё может исправить его пекарня. Как-то вечером он вообще потерял над собой контроль и попытался усадить её к себе на колени – дочь резко вырвалась, грубо отпихнув его, а потом заперлась у себя в комнате. Раздосадованный и обозленный, жених ушёл в тот вечер даже не попрощавшись, но на следующий день он вновь появился у нас дома, и с дочерью с тех пор он обходился по-человечески. Я это объяснил тем, что прапорщик искренне влюблён и полностью раскаялся в своих безобразных манерах. С дочкой же творилось что-то невероятное: её отвращение порождало истинный ужас, в испуге и панике она бледнела от каждого стука в дверь и всё чаще и всё настойчивее нам твердила, что глаза у него разные и страшные.

С тех пор прошло ещё некоторое время. Как-то вечером мы с женой приготовили ужин и, по обычаю, ожидали возвращения дочки с работы. Уже было поздно, а её всё не было. Поначалу казалось, что она задерживается на фабрике по срочному заказу (так уже случалось не раз), но время шло, и нас охватило настоящее беспокойство – а что, если от безысходности и страха перед грядущим замужеством, дочь решилась сбежать?! Однако на неё это было непохоже, да и харак-

тер другой, к тому же нас она безмерно любила и готова была принять любое наше решение. Подождав еще около получаса, я отправился на фабрику – там мне сказали, что отпустили дочь в обычное время, около семи. Оттуда я напрямик вернулся домой в надежде обнаружить её, но дома она так и не появилась... Не заглядывал к нам целый день и прапорщик – его я надеялся найти в казармах, но сослуживцы ничем не смогли помочь. Из общих знакомых оставался только депутат, но тот заверил, что уже несколько дней не виделся с прапорщиком, а ещё и упрекнул меня за мои подозрения: зачем, мол, жениху выкрадывать мою дочь, когда я сам уже был готов отдать её за него замуж! Вернувшись домой, я решил будить соседей, и мы в ночи с фонарями предприняли поиски сообща, рыская по ущельям, склонам и расселинам, коих было множество на пути от фабрики до дома и куда по несчастью она могла сорваться. Наши долгие блуждания ни к чему не привели. Выбора не было – под утро пришлось идти в полицейский участок и высматривать свою дочь среди случайно задавленных и безвестно умерших, но, как оказалось, в тот день не было ни человеческих жертв, ни происшествий, только поезд зашиб одного заблудшего телёнка. Начальник участка выслушал меня внимательно – чувствовалось, что искренне нас пожалел, затем подробно расспросил, с кем она общалась и кто бывал у нас дома. В какой-то момент мне показалось, что он нахмурился и серьёзно озадачился, когда я упомянул о прапорщике. Я очень надеялся

выпытать от него что-то более конкретное, но следователь пообещал, что предпримет все меры и сделает всё, что в его силах, чтобы разузнать, что случилось с дочерью. Затем отправил меня домой, пожелав мне спокойствия и терпения.

Прошло ещё четыре дня, но так ничего не прояснилось. Я вновь был у депутата, и он вновь уверял меня, что от прапорщика не было вестей, а сам он ничего не знает. Однако в этот раз он показался мне встревоженным и даже расстроенным, глаза его нервно бегали, взгляд уводил в сторону и всё стремился меня выпроводить вон. На следующий день мою дочь нашла полиция. Знаешь, что с ней произошло?

– Ну откуда же!

– Этот прапорщик и ещё два таких же мерзавца выследили её после фабрики, а возле моста схватили, заткнули тряпкой рот, запихнули в коляску и отвезли в грязный вертеп одной местной тётки, где надругались над ней, издевались всю ночь до обморока, а затем бросили её там полумёртвой. Прапорщика же спрятал депутат и три дня продержал его в подвале собственного дома, а после отпустил в бега.

– Как же всё это отвратительно! – раздражённо выпалил я. – Знаешь, а такое случается почти каждый день... Открой любую газету – и через пять минут уже начинает тошнить от всех этих историй!

– С той лишь разницей, – прошипел Зомас, – что всё это произошло с родным и самым дорогим мне человеком! За дочкой я поспешил в отделение, где она уже находилась под

присмотром полиции; крепко обняв ребенка, я на руках понёс её домой к матери.

Всю ночь мы не отходили от неё ни на шаг: в слезах и на коленях просидели у её кровати, обнимали её, целовали её руки, но она словно не замечала нас и даже не повернулась в нашу сторону, так всё и лежала неподвижно к нам спиной. Я очень боялся, что она злится, что не простит нас с матерью, но два врача, которых привёл к нам под утро начальник полиции, внимательно осмотрели её и пришли к заключению, что наша дочь полностью потеряла рассудок. Дождавшись ухода врачей, полицейский предложил мне сесть и доверительно сообщил, что этот прапорщик на самом деле последняя сволочь и на его совести полно других изнасилований вплоть до убийства, но покровительствует ему полковник-депутат из Сироса, который не раз спасал ублюдка и от следствия, и от тюрьмы. Как бы я ни старался, что бы ни предпринимал, я ничего не добьюсь, а потому мы должны проявить терпение, и будет полным безумием вступать с этим полковником в тяжбу, тем более, им дорожит Министерство, которое переживает ныне не самые лучшие времена. Лучше промолчать и затаиться – глядишь, что-нибудь сделают они и для нас: позаботятся о дочери и определят ее под присмотр в государственный приют для сумасшедших. Не стал я отвечать полицейскому, ибо решение свое я давно уже принял... Дождавшись вечера, я написал тестю с просьбой приглядеть за дочерью и внучкой (знал, что он никогда

их не оставит, хотя и бедствует сам), спешно собрался, нежно обнял растерянную и несчастную жену, попрощался с ребёнком, перекрестился на иконы, припрятал за поясом кинжал и около десяти часов вечера отправился к полковнику с твёрдым решением прикончить его, чего бы мне это ни стоило. Дверь в дом полковника оказалась незапертой и приоткрыта, огромная прихожая и вся гостиная зала были битком переполнены посетителями. Среди прочих я узнал одного из врачей, что был у меня этим утром, а также кладбищенского священника в епитрахили и дьякона, держащего в обнимку объёрнутую чашу с причащением. Кругом стоял приглушённый невнятный гул, суэта, голоса, перешёптывание, все были заняты друг другом, никому не было до меня дела, и во всей этой неразберихе я продолжал оставаться незамеченным. В конечном счёте я спрятался возле окна за тяжёлой гобеленовой занавеской. Из своего укрытия я выяснил, что к вечеру у полковника случился апоплексический удар и теперь он, наполовину парализованный, находится почти при смерти, и все посетители возбуждённо обсуждали: пора ли полковника причащать и служить по нему отходную или подождать ещё какое-то время, когда станет ясно – будет ли ему совсем плохо или всё же он выкарабкается и пойдёт на поправку.

Через некоторое время из спальни вышел еще один врач и победоносно объявил, что шансы сохраняются, затем вежливо предложил всем разойтись, обеспечив больному покой и тишину. Народ тут же засобирался. В конечном счёте в до-



ме оставались только врач, священник и два близких друга полковника. Ближе к полуночи и они тоже разбрелись по отдельным комнатам, что в достатке находились на втором этаже просторного дома. В обезлюдевшей гостиной дежурил молодой солдат, получивший приказ быть всю ночь начеку и регулярно навещать господина полковника, а в случае необходимости будить всех, не раздумывая. Юноша уже валился с ног и, судя по всему, только и ждал момента, когда все уgomонятся. Оставшись один, он затеплил долгую восковую свечу, улёгся в сапогах на диван, собрался почитать вечерние новости, но молодость быстро взяла своё, и через несколько минут он уже мирно посапывал в обнимку с газетными листами. Пришло и моё время, но спать я не собирался... Вышел я неслышно из своего убежища и тихо пробрался в соседнюю комнату, заперев дверь изнутри на ключ. Эта была та самая комната, где полковник ещё три года назад, словно издеваясь надо мною, забавлялся со своим котом во время нашего разговора, но теперь многое изменилось! Вместо весёлой вязаной фески поверх головы уродливо торчала резиновая грелка с кусками льда, а вместо расшитых золотом тапочек – вонючие травяные компрессы на его опухших и оочечневших лодыжках. Несмотря на чудовищную неприглядность его болезненного вида, в нём ещё сохранялось незатуманенное сознание: он тут же узнал меня, а в глазах его отразился могильный ужас, когда я выхватил кинжал и занёс над ним руку... «Мерзкий убийца моих детей!» – в безум-

ном приступе ненависти прошипел я. Полковник был полностью парализован и беззвучен, не мог ни просить, ни умолять, но во взгляде его я увидел всё разом. Боже мой! Он рыдал, он готов был целовать мне руки и на коленях вымаливать пощады... Моё сердце дрогнуло, я не смог ударить это больное, беспомощное, пусть и глубоко ненавистное мне животное, но и оставить своих детей без отмщения я тоже не мог. Убрал я в ножны кинжал и с отвращением плюнул ему в лицо, но, вместо гнева и оскорблённых чувств, я с удивлением обнаружил, что полковник смотрел на меня взглядом, полным благодарности и искренней радости за дарованную ему жизнь.

– Ну и чем закончилась эта история?

– Полковник пришёл в себя и уехал поправлять здоровье на курорты. Дочь промучилась ещё несколько месяцев, а затем я похоронил её рядом с пятью другими её братьями и сёстрами... Ну и кто посмеет сказать, что я не прав, когда проклинаяю эту мерзкую политику?!

– Да ты сам виноват, – не сдержался я, – что впутал себя во всё это, – и ты, и все те, кто носит за избирателями, принимая всё, что вам сказано, за чистую правду!

Мой правильный и, казалось, неопровержимый аргумент неожиданно взорвал его изнутри: лицо Аргириса сделалось страшным, глаза заблестели злостью, он испытующе посмотрел на меня, словно заподозрил подвох в моих словах, но в мгновение как бы успокоился, дружелюбно своей стальной

хваткой взял меня за руку и с горячностью произнес: «Брось! Всё, что ты сейчас сказал, не делает тебе чести! Эти твои «сам виноват, что поверил!» оставь, пожалуйста, для проходимцев на бирже! Если люди быстро верят и легко прощают, то ещё бессовестнее и даже подло выглядят те, кто всем этим пользуется. Чем более наивным, доверчивым и бесхитростным кажется народ, тем больше симпатии он должен вызывать и тем более ему должны сочувствовать, вместо того чтобы обдирать его как липку, вместе с кожей до самых костей, обрекая его на нищету, страдания и бесчестие, словно безжалостные погонщики, что, обезумев, нещадно до смерти забивают своих лошадей за то, что те не кусаются и не сопротивляются им в ответ. Если у тебя есть сердце, то не говори, что виноват народ, но дай волю чувствам и крикни от сердца, во весь голос: «Да будут прокляты эти лживые политики!»».

Эту маленькую радость я не мог доставить злополучному могильщику, поскольку и голос у меня совсем слабый, да и криков я не люблю. Но если я правильно понял его сравнение про политиков и бездушных погонщиков, то покуда существуют у нас организации по охране бесправных, незащищенных и бессловесных животных – всяких там лошадей, собак и кошек, всевозможных птиц и млекопитающих, то почему бы нам не начать кампанию по защите ещё и избирателей?!

1895 г.

*(перевод публикуется в сокращении – Б.В.)*

# **О превратностях семейной жизни**

## **(Из воспоминаний**

### **жителя о-ва Сирос)**

## **Рассказ**

Мне ужасно стыдно в этом признаваться, но я всё ещё страстно влюблён в свою жену! На земле нет другой болезни, столь же невыносимой и мучительной, как влюблённость: ни аппетита, ни сна, ни желания работать и уж тем более настроения отдыхать. Вот уже без малого восемь месяцев, как мы сочетались семейными узами. Отважился же я на этот шаг исключительно потому, что мне совсем не по душе это моё состояние влюблённости, когда, кроме моей Христины, всё на свете мне казалось безвкусным, безрадостным, несущественным и утомительным. Как-то раз в ресторане я с досадой высказал официанту, что селёдка у них совсем не солёная, чем вызвал бурю эмоций и усмешек. Мои родственники не хотели этого брака. Приданого у Христины не было, да и моё состояние не ахти какое: родительский дом, три тысячи драхм ежегодного дохода от аренды двух кладовых помещений и ежемесячное жалование служащего – около ста шестидесяти драхм. Как прикажете прожить на такие средства, когда моя жена – молодая красивая женщина, единственная

дочь своих родителей – была ещё и ко всему избалована хорошим обществом, отборными нарядами и знатными балами?!

По большому счету моя родня была абсолютно права! Не могу ничего сказать и в своё оправдание: не был я ослеплён ни страстью, ни романтикой – по правде говоря, вы вряд ли найдёте человека более рационального, чем я. Большая часть влюбленных готовы отдать всего себя, не боясь быть осмеянными, готовы заплатить любую цену, лишь бы обладать предметом своего влечения, считая это наивысшим благом. Я же, напротив, никогда не был сентиментальным, а потому ни о чём так сильно не помышлял, как о скорейшем возвращении в своё изначальное состояние, к которому привык ещё до того, как успел влюбиться. Грезил я об этом благе горячо и страстно, как больной, что прикован к кровати и всем своим существом мечтает вновь ощутить себя здоровым. Христина мне была нужна только для того, чтобы ей вдохновиться, насладиться до полного пресыщения и вновь, как и прежде, мирно спать, спокойно есть, играть с друзьями в преферанс или вист, а тихими вечерами беззаботно прогуливаться по набережной. Вряд ли я тогда решился бы на женитьбу, если бы не смерть моего престарелого дяди, который жил в крайней бедности, одевался как Диоген, питался как египетский аскет, и все знали, что у него нет ни копейки за душой. Он много и тяжело болел, страдая от грудной жабы, и как-то раз попросил у меня сто драхм на врачей и лекар-

ства, но, как оказалось, ни цента не потратил, а предпочёл все деньги бережно припрятать к своим пяти тысячам, что хранил в соломенном матрасе, на котором одиноко почил, а наутро был обнаружен роднёй. Этот случай с дядей заставил меня серьёзно задуматься, и я решил, что было бы полным безрассудством продолжать мучиться от бессонницы и терзать себя отсутствием аппетита, когда есть верное средство к выздоровлению: Христина стала для меня словно порошок хинина, что принимают от жара и недомогания.

Мне крайне не терпелось, но из-за общего предубеждения и увещаний местного епископа я был вынужден дожидаться венчания аж до конца мая. Сразу же после свадьбы в свой медовый месяц мы отправились на Кос. С уверенностью готов признать, что время мы провели отменно: остров утопал в зелени, усадьба была уютная, питание исключительное, погода замечательная, а всего прекраснее была Христина. О, не случайно все мои предпочтения были отданы ей: только в Христине я не обнаружил тех привычных среди девиц недостатков, которые, по обыкновению, вызывали во мне лишь неприятные ощущения: ни худосочности, ни томности, ни чрезмерной стыдливости, а уж тем более угловатой и несуразной юности. Полагаю, она немногим старше меня – лет двадцати шести или восьми, смуглая и черноволосая, высокая ростом, красивая в плечах, с выразительной грудью, огоньком в глазах и в изящных туфельках на стройных ножках. И пусть не покажется немислимым сочетание из столь-

ких достоинств в одной единственной женщине – добавлю лишь, что Христина была из Смирны!

Вскоре мы перебрались на остров Кеа и оставались там до конца лета, а моя терапия чудесно продолжалась. Ещё раньше, верно, чем Отто Бисмарк, я обнаружил для себя, что "блаженны", как он говорил, "обладающие". Однако чувственные люди видят в этом обладании, так же как и в самом супружестве, мрачную могилу для пылкой любви. Мне трудно согласиться с такой постановкой вопроса, поскольку женился-то я с намерением поглубже закопать собственную страсть, а совсем не из жадности безудержных наслаждений, но в поисках полного умиротворения, к которому двигался изо дня в день и шаг за шагом. Утром мы купались в море, вечером подолгу гуляли пешком или забирались на лодке подальше от берега. Возвращался я домой обессиленным, ел за двоих и, пообщавшись вдоволь с Христиной, спал беспробудно до самого утра. Снов я уже не видел, кроме, наверное, одного-единственного, который, впрочем, можно считать симптомом полного оздоровления...

Это был тёплый вечер, и после ужина мы вышли подышать на балкон. Я не припомню столь же яркой и безупречно полной луны, столь живописного отблеска моря и такого пьянящего букета из ароматов леса и цветущих садов. О, как обворожительна была моя Христина в своем неглиже из лёгкой белоснежной ткани с естественной талией, или пеньюаре, как она любила его называть. Её распущенные волосы,

словно потоки глубоководной чёрной реки, густыми локонами свободно спадали почти до самых колен. Она вглядывалась в море и ласково, вполголоса напевала мотив каватины "к Эрнани страстью нежною пылаю...", но иногда умолкала, игриво развернувшись ушком в сторону соседского сада, откуда, словно эхом, ей отвечал изящной трелью ночной соловей. Всё это было очень поэтично и будоражило сознание, но на ужин я съел много подкопчённой скумбрии, приправив её двумя или тремя бокалами полусладкого кикладского вина, – меня сильно клонило ко сну, мысли путались, и я вдруг забылся... не было в моём сне ни пения соловья, ни чёрных локонов волос, ни лунного света, но грезилось мне, что я уже дома, на Сиросе, в офицерском клубе со своими друзьями разыгрываю три подряд беспроигрышные, феерические партии в вист, заставив сдатья непревзойдённого картёжника Алоиза Катзаити. Ну как тут ещё усомниться в своем полном исцелении?! Через неделю мы с Христиной уже были на Сиросе. Наконец-то после четырёхмесячного путешествия я обретаю покой, возвращаюсь к своей обычной жизни, и я даже успел поправиться почти на три килограмма, в чём имел возможность удостовериться, взвесившись на таможенных весах, кои обнаружил на пристани, когда высаживался с парома. В тот самый момент я бы, наверное, искренне рассмеялся, если бы кто-то мне предрёк, что уже через несколько дней я вновь стану несчастным и буду мучительно страдать от нестерпимо изматывающей любви.



Предвестником грядущих для меня бедствий стал праздничный бал, объявленный нашим градоначальником по случаю официальной церемонии в честь Министра военного флота, прибывшего на остров. Анонс торжества оказался столь неожиданным, что перевернул с ног на голову наш размеренный образ жизни, а времени на подготовку практически не оставалось. Целых три дня подряд Христина безвозвратно пропадала в магазинах, а на четвёртый наш дом превратился в пошивочную мастерскую: кругом самым причудливым образом были разложены бесконечные тканевые отрезы, подкладки и подстёжки, всевозможные модели и странные выкройки, разноцветные бюстгальтеры, корсеты, а с ними и туфли для примерки. Мне даже присесть было негде – до позднего вечера приходилось ждать, пока швея освободит обеденный стол, и мы смогли бы на скорую руку утолить чувство голода одинокой тарелкой салата или быстрой партией жареных сардин. Наша единственная и по-настоящему незаменимая горничная была всецело посвящена в швеи и ничего вообще не успевала по кухне. Однако было бы несправедливым мне обижаться на такие жизненные обстоятельства, поскольку этот казус имел глобальный, почти вселенский, масштаб: дело в том, что на острове Сирос существует особая традиция строго поститься или даже голодать, кроме Рождества и Пасхи, ещё и в преддверии праздничного бала! Сильную досаду и даже иногда раздражение вызывали лишь нескончаемая занятость Христины и вкрученные

в волосы папильотки, которыми она облепляла свою голову перед сном – я словно овдовел с той самой минуты, как мы получили это распроклятое приглашение. Должен признаться, что сколь велико было моё неприятие ко всем этим приготовлениям, столь же неожиданно блистательными оказались все её наряды, среди которых особо выделялось платье со шлейфом из шёлкового дюпона насыщенного вишнёвого цвета и старинная рубиновая тиара – остатки былой роскоши из фамильных драгоценностей ее матери, что венчала её аккуратную головку и неотразимо горела густо-красными всполохами в чёрных как смоль волосах Христины. В таком ослепительном одеянии она будоражила во мне далёкие воспоминания, что некогда рисовало моё детское сознание в несбыточных мечтах о блистательных Клеопатре, Федере и Семирамиде, об их завораживающей и пленительной женской красоте, которая часто грезилась мне в красочных снах нежной юности.

Дом градоначальника был внушительным и просторным, но его явно не хватало на всех. Чрезвычайно важно было не забыть ни одного мало-мальски приметного общественника, даже если тот был заурядным пирожником, корабелом или скорняком, а ещё умудриться всех вместить и распределить по чину. Гостей пожаловало необычайно много и, как это часто случается на Сиросе, приглашённых дам было существенно меньше, чем способных к танцам мужчин. Танцоры скапливались у входной двери в ожидании уведомления о

прибытии новой гостьи и следовали за ней по пятам через парадную лестницу целыми группами, наперебой умоляя составить ему пару. Как только мы подъехали, по меньшей мере пятнадцать человек обступили Христину, а мне оставалось только восхищаться её женским бесстрашием и той лёгкостью, с которой она умудрялась одаривать, словно небесной манной, кого прелестным взглядом, а кого трогательной улыбкой. Весь этот вечер щедрое настроение Христины не иссякало ни на минуту, вот только мне так ничего и не досталось: меня она не замечала, хотя не раз, вскружённая бравурной мелодией вальса, шумная и весёлая, пронеслась прямо возле меня. Не имея никакого настроения и желания танцевать, удручённый самыми неприятными мыслями, я искал в толпе хоть одно знакомое мне лицо, пока вдруг не обнаружил стоявшую скромно у стены госпожу Клеарет Галаксиди – незамужнюю даму сорока лет, которой всегда симпатизировал не столько от очарования её зрелой наружностью, сколько из-за её обходительности, такта, простых, невычурных манер, строгих одежд, отсутствия кокетства и каких-либо видимых притязаний. Она весьма неплохо танцевала и делала это с удовольствием, если ей удавалось найти себе партнёра. С этой леди, словно с хорошим другом, или, вернее, подругой, я мог позволить себе открытое и непринуждённое общение, чему она всегда была искренне рада, давая толковые советы по домашнему хозяйству или здоровому образу жизни, и даже присылала мне гостинцы в виде пирожных

или анисовых сухариков, позволяя по достоинству оценить её исключительные кулинарные способности. Можете себе представить моё недоумение, когда на дружелюбное приветствие, вместо предложенной, по обычаю, руки, она ответила мне холодным и почти враждебным взглядом.

– Вы разве не танцуете сегодня? – спросил я, не подумавши, совсем упустив из виду, что данное обстоятельство было не только в её власти.

– Нет, как видите.

– Вы же лучшая из всех наших танцовщиц! Мне это показалось странным – я поэтому спросил...

– О, есть куда более странные вещи!

– Неужели?! Под'елитесь?

– Некоторые джентльмены на протяжении многих лет клятвенно заверяли окружавших их молодых дам, что полюбят только скромную, послушную и добропорядочную женщину, хорошую хозяйку, а вместо этого женятся на жеманных, вульгарных особах, что успели вдоволь нагуляться и продолжают свои непристойности даже после свадьбы!

Полной неожиданностью стало откровение старой девы, обычно тактичной и приветливой, которая по возрасту запросто могла бы быть моей матерью, если бы вовремя вышла замуж, и которая, как это вдруг выяснилось, не была столь бескорыстной, когда делилась советами или присылала мне печенья. Её скрытые брачные притязания показались мне весьма забавной историей, но в тот момент мои нервы

были на пределе, и вместо благодушной шутки я предпочёл с ней поквитаться:

– Что-то не припомню, чтобы с молодыми дамами я обсуждал подобные вещи, – с хладнокровным недоумением произнес я.

Госпожа Клеарет закусила губу и демонстративно повернулась ко мне спиной, однако брошенная в адрес моей жены фраза, словно заноза, непрерывно пульсировала в раздражённом сознании. По правде говоря, за этот вечер к моей Христине тоже накопилась серьёзная претензия: взявшись пристально наблюдать за нею, я обратил внимание, что в своих одобрительных взглядах и улыбках она не была столь безупречно уравновешенна, как мне это представлялось в самом начале. Значительно чаще остальных жена любезничала с навязчивым блондином, который сначала дважды удостоился быть в паре с ней, затем так и остался подле неё, а в перерывах между фигурами кадрили они с Христиной продолжали оживлённо общаться, хотя танцевала она с другим! Однако более всего я озадачился тем, что этот парень был мне совершенно неизвестен, в то время как все жители Эрмуполиса были знакомы между собою, словно монахи в родном монастыре.

В итоге я совсем растерялся, и это уже было трудно скрывать... Тут ко мне и подсел мой давнишний приятель Евангел Халдуп – наиумнейший, но ещё в большей степени сумасбродный тип, он был циничнее самого Диогена и абсолют-

но бестактный, словно обезьяна. Из-за многочисленных и неприкрытых измен его покойной супруги он принял за правило самолично смеяться над собою и делал это столь громко, что отбивал у других всякое желание к насмешкам. На стенах своего кабинета он повесил изображения достославных Гефеста, Агамемнона, Менелая и византийского Велизария, а рядом с братьями по несчастью – и свою собственную фотографию. За пять лет супружеской жизни из его уст мы ни разу не слышали ни упрека, ни жалобы, ни порицания, а только иронию да издёвки – настолько едкие и обидные, что до сих пор никто точно не знает, действительно ли от рака пострадала его покойница жена. Само собою, сразу же после окончания траура он объявил себя кандидатом в женихи. Однако из страха, как он говорил, растерять силу духа, если вдруг её снова придётся употребить в защиту поруганной чести, к своей будущей г-же Халдупи он предъявлял следующие требования: она должна быть страшна, глупа и богата. Все эти три наиважнейших качества он обнаружил у девицы по имени Панаёта Турлоти – этакая молоденькая гиппопотамша с формами, что приводили в ужас любого из претендентов на её приданое.

Заметив моё замешательство, этот чудак подсел ко мне с настойчивыми расспросами:

- Что с тобой, братец мой дорогой? Ты ж мрачнее тучи!
- Ничего особенного: немного голова разболелась, – попытался я закрыть разговор.

– А ещё, знаю, мучит тебя мысль, что я был прав, когда сказал, что Христина – не твой вариант... Слишком пылкая она, кровь у неё горячая. Ой, как на мою покойницу похожа по характеру! Смотрю я, а друг-то её старинный ни на шаг от неё не отходит. Вишь вон белокурого красавца, – он указал на того самого парня, что крутился возле Христины, – Карлом Витурием зовут. О, им есть о чём вспомнить!

– Старый друг?! – смутился я. В первый раз вижу! А как такое возможно?

– Всё очень просто: он только-только из Европы вернулся. Этот красавец лет этак пять назад, ещё до того как ты на Сиресе обосновался, до безумия был влюблён в твою Христину, но выдавать её не хотели – средств у него на семью не было. Так отчаялся, бедняжка, что руки на себя хотел наложить! Вполне может статься, что так бы и сделал, но моя жена взялась его утешать. Полагаю, что это был её первый любовник... Я их прямо в соседском саду и застал. Быстро он ей надоел – слишком чувственная натура! Потом опять на твою стал западать... Вот и отправили его во Францию, чтоб сразу обеих и забыл, а ещё на аптекаря выучился и отцу помог. Ха! А забвения-то не получилось – ты глянь, как он твою Христину глазами пожирает! Совет мой дружеский тебе: ты его поберегись, и не стоит с женой на танцы частить!

– Спасибо, я обязательно воспользуюсь советом, – не без иронии парировал я.

– И главное: не дай бог она поймёт, что ты её ревнуешь

или в свободе ограничишь, тогда в аккурат с ней нахлебаться!

– И что же мне тогда делать? – произнёс я с еле скрываемым раздражением.

– А мне-то откуда знать! Ты моего первого совета не послушался – самого лучшего, что я мог для тебя придумать. Остаётся только одно: следовать впредь моему примеру, что бы ни случилось... И постарайся не принимать это близко к сердцу: убеди себя, что всё это мелочи жизни! Да, вот ещё что: не забудь повесить себе на стенку портреты Агамемнона, Гестаста и Менелая, – заключил Халдуп, ёрничая.

Я решительно поднялся и отошёл в сторону, всеми силами сопротивляясь искушению плюнуть этому паршивцу в лицо, но тут объявили cotillion, который мне показался бесконечно долгим. Наконец, закончилось для меня и это испытание – гости принялись расходиться. Я принёс из гардероба шубу жены, бережно накинул ей на плечи, и мы направились к выходу, но тут нас настигли трое молодых людей, одним из которых был Карл Витурий, и наперебой стали умолять задержаться на galop finale, уверяя, что моя супруга пообещала его каждому из танцоров. Жена, естественно, уже не могла припомнить всех обстоятельств. У неё была возможность достичь полного компромисса, сославшись, как это принято, на усталость, и отказаться от танца, но она предпочла разыграть между претендентами жребий. Удача, но не без помощи, наверное, нехитрых манипуляций, улыб-



нулась вновь Витурию, и мои мучения затянулись ещё на целый час. Справедливости ради, должен признаться, что музыка на "финальный галоп", сочинённая скрипачом и дирижёром местного оркестра, была превосходна, а ритм настолько живой, что сам по себе окрылял, увлекая на танец всех без исключения, даже губернатора, а вместе с ним и приглашённых высокопоставленных особ. Появление бокалов с горячим вином стало кульминацией всеобщей радости и оживления, вот только меня, стоящего поодаль в углу, переполняла желчь, когда я наблюдал, как счастлива была Христина, кружась в объятиях своего Карла. Обрадованный Халдуп вновь вознамерился подойти ко мне, чтобы излить очередную порцию яда в мои раны, но взгляд, которым я его одарил, был, видимо, настолько злобным, что он тут же предпочёл ретироваться. Уезжали мы почти последними, а домой приехали только к пяти утра.

Самое удивительное, что провокационное поведение супруги, ехидство Халдупа и вообще все пережитые мною на этих распроклятых танцах эмоции не только не охладили моих чувств, но ещё больше разбередили меня, разбудили во мне такую страсть, какую я не испытывал к Христине с тех самых пор, как принял решение на ней жениться. Пожирающая ревность и почти двухнедельное воздержание распалили моё воображение, а изысканное в кружевах нижнее бельё, роскошный лиф из муарового шелка, атласные туфли, сладко-пьяный и волнующий замес ее парфюма из ароматов

ириса и бог весть каких индонезийских цветов сделали её притяжение нестерпимым. Могу только догадываться, что, когда я приблизился к ней, взгляд мой говорил уже сам за себя – красноречивее любых слов, что было бы бессмысленно мне отрицать и уж тем более меня за это осуждать! Но не успел я и звука проронить, как Христина поспешила опередить меня просьбой: "Дорогой, слов нет, как я измотана, совсем без сил, давай не сегодня!" Я невозмутимо пожелал ей спокойной ночи и с тяжестью на сердце удалился в свою комнату. По чести сказать, то обстоятельство, что спали мы в отдельных комнатах, не было её прихотью – на этом настоял я сам сразу же по возвращении из путешествия: в этом обычае, во-первых, мне виделись благородные черты домашнего аристократизма, а кроме того, меня тяготило чувство пресыщения, которое я ощутил после нашей поездки. Такой вот чудной народ эти влюблённые: никогда не признают, что способны взалкать, если сыты, или допустить хоть на миг, что могут насытиться, пока голодны.

Судя по всему, Христина ещё спала, когда в одиннадцатом часу утра я ушёл в свой кабинет, но, вернувшись к завтраку, я застал её за пианино в приподнятом настроении и возбуждённой.

– Ты только послушай, – сразу обратилась она ко мне, – какой всё-таки замечательный галоп! У меня без нот ничего не получалось сыграть, а тут – с первого раза запомнила наизусть!

Христина принялась наигрывать тот самый злополучный галоп, и эти звуки вновь окунули меня в самые неприятные воспоминания о вчерашнем бале.

– Прошу тебя, – резко оборвал я её, – мне что-то нездоровится, и от музыки меня мутит. Давай, пожалуйста, в другой раз!

Христина посмотрела на меня в недоумении, неспешно закрыла крышку пианино и тихо отошла к окну. В мгновение она оживилась и чрезвычайно радушно, с присущей ей игривостью, замахала ручкой, приветствуя кого-то на улице.

– С кем это ты? – спросил я, стараясь сохранять спокойствие и демонстрируя своё якобы полное безразличие.

– Учитель танцев, господин Куэртзи, – не оборачиваясь, поторопилась заверить меня Христина.

Я поспешил незаметно удалиться в соседнюю комнату и, прильнув к окну, действительно обнаружил проходящего мимо старика Куэртзи, но под ручку с молодым Карлом Витурием... Ах, вот оно что! Мне она упомянула только учителя танцев, хотя, вне всяких сомнений, львиная доля приветствия принадлежала её вчерашнему кавалеру!

Для Сироса этот год стал чрезвычайно удачным: благополучно завершив работу над бухгалтерской отчётностью, жители острова всем своим существом окунулись в праздничную атмосферу бальных вечеров. Только за один текущий месяц их было организовано более десятка. Всё внимание Христины было всецело приковано к балам: в течение дня

она тщательно готовилась, ночью танцевала без устали и до упаду, а на следующий день приходила в себя, отдыхала и набиралась новых сил. Мне не оставалось ничего другого, как всюду её сопровождать, пристально за ней следить, сгорать от ревности, а в своих беспокойных снах лицезреть Гефеста, Менелая, а вместе с ними и Витурия – последний, к слову, повадился каждый день прогуливаться возле наших окон. К счастью, среди местных не приветствуются посещения гостей без повода, за исключением нового года или именин, и уж тем более никто бы не позволил чужому мужчине навещать в гости к хозяйке дома в обычные дни – такой поступок закончился бы неминуемым скандалом, не меньшим, допустим, чем нарушение неприкосновенности восточного гарема. Оставались балы и мимолётные встречи на городских площадях, улицах или паромной пристани. Раз-другой мне привелось лицезреть мою жену направлявшейся в аптеку Витурия, однако это мне не казалось подозрительным и уж тем более уничижительным, потому как именно в этом месте высшие слои нашего общества закупались травами и мазями. Однако всякие мои попытки здраво рассуждать во имя сохранения спокойствия никоим образом не могли помешать мне терзаться сомнениями и заниматься самоедством.

Самым сильным моим разочарованием, постоянно изводившим меня, стало то обстоятельство, что мне практически никогда не удавалось застать Христину одну и свободной от её дел. Даже у полководцев перед генеральным сражени-

ем нет, полагаю, столько забот, как у моей жены. Походы по рынкам, магазинам и торговым лавкам сменялись многочасовыми заседаниями с её подругами. Временами она была крайне занята с модисткой, которая, как выяснилось, не умела держать свои обещания. Ещё большее беспокойство вызывал единственный на Сиросе, а потому всегда бесценный дамский парикмахер Анастасий, частенько изводивший её своей нехорошей привычкой запаздывать, а порою и того хуже: этот бессовестный субъект предлагал жене делать причёску и укладку поутру – другого, видишь ли, времени в его расписании не было! Бал забирал все её силы, дома её непреодолимо клонило ко сну, а отдыхала она обычно до полудня... Зато меня непрестанно мучила бессонница, но я не только не мог уснуть, лежать в кровати не было мочи! Словно мучительные и роковые видения с тенистыми оазисами и прохладными заводами для скитальца по мёртвой пустыне, стали мне приговором мои воспоминания о медовом месяце, о тишине и уединении, о моей Христине, что в тонкой домашней сорочке и с книжкой в руках могла долгими часами находиться рядом со мною. Не столько терзался я воспоминаниями о неге брачных наслаждений, сколько потерянным сердечным покоем и утраченным душевным равновесием, что всякий раз наступали взамен, позволяя мне мирно вкушать от других радостей человеческой жизни. Вместо этого мои затянувшиеся приступы ревности и совершенный раздрай в чувствах сделали из меня, человека степенного и

рассудительного, некое подобие бродяги или вопиющего к злой судьбе менестреля.

Как-то ночью, окончательно потеряв терпение, я неслышно приоткрыл дверь, что разделяла наши комнаты, и, удивившись, что Христина спит, осторожно подошёл к её кровати. Спальня освещалась слабым мерцающим огоньком иконостасной лампы васильковых тонов. Холодные рефлексии глубокого синего цвета придавали интерьеру атмосферу загадочности и романтики – это была моя идея, пока мы были в свадебном путешествии. Здесь повсюду царил беспорядок – сказала накопившаяся за день усталость: на диване лежали наскоро снятые платье и кринолин, рядом прямо на полу валялись турнюры; на кровати – её кружевной корсет, и тут же спал неразлучный котёнок, зарывшись с мордой в белоснежный халат; на стульях кое-как брошены веер, перчатки, букет цветов и бальные призы; бронзовый бюст Корайса небрежно украшал цветочный венок, а на полке камин сверкали драгоценными камнями попросту разложенные браслеты и ожерелья. Комната напоминала некое божественное капище священной Беспорядицы, но кто посмел бы весь этот хаос назвать унылым или безрадостным, ведь так притягательно прекрасны были все его предметы! В центре всего была сама Христина со своим невозмутимо спокойным и умиротворённым лицом: она имела обычай спать чуть развернувшись на животе, согнув одну ногу в колене и подложив под голову руку, воплощая всем своим видом эротику ан-

тичной скульптуры; её губы то и дело оживали и на какое-то мгновение замирали в лёгкой поощряющей улыбке – точно-точно, что не покидала её уст во время танцев, когда она раздавала похвалу своим вездесущим кавалерам. Уже светало, и тусклое утреннее марево проникало сквозь щели в оконных ставнях... Захотелось подойти к ней ближе, но меня остановила неожиданная мысль – пронзительная, как откровение: вот она проснётся, и её улыбку сменят сначала едва заметное недовольство, потом вздох разочарования, зевота, и, в довершение, она ещё и развернётся ко мне спиной! Да, её можно понять: насыщенный вечер, много изматывающих эмоций – прошло не более часа, как она вернулась, только-только уснула, а тут... Я ещё немного постоял в раздумьях, потом беззвучно вышел из её комнаты, запер за собою дверь и снова, словно маятник, стал бродить из угла в угол, продолжая пытаться себя непрерывным и изнуряющим монологом. Я сокрушался о том, что для этой женщины не составило бы труда сделать меня счастливейшим из людей, если бы она чуть меньше зависела от светской жизни с её балами и увеселениями – о, как мне хотелось придушить её в тот момент! Однако вряд ли ей что-то угрожало в действительности – не существует, наверное, в мире характера более мягкого и добродушного, чем я: если мне предложат душить птицу, которую нам подадут к обеду, то я точно предпочёл бы сам питаться отрубями.

Пусть не покажется такое поведение несуразным, ведь по-

ложение моё было весьма деликатным: возможно ли допустить унижения до роли влюбленного просителя и при этом не показаться жалким, или, напротив, как я мог дать ей повод к отвращению, когда на правах супруга стал бы жёстко добиваться своего?! Обе эти перспективы мне казались одинаково страшными и неприемлемыми, поэтому, когда Христина интересовалась причиной моего отказа от еды, я всякий раз ссыался то на головную боль, то на желудок, то на зубы, а случалось, что и на душевный стресс, но истинные мотивы я всегда скрывал, словно самые преступные помыслы. Знал я превосходно, что женщина способна простить многое: и грубость, и побои, и даже измену, кроме одной единственной вещи – когда её любят больше, чем она того заслуживает. Настоящим безумием было бы признаться женщине в том, что из-за неё ты невыносимо страдаешь – останется лишь два пути: тут же с ней развестись либо повесить себе на шею камень и утопиться.

Дня через два после той нервной и бессонной ночи, возвращаясь из своего кабинета раньше обычного, я застал Христину врасплох, о чём понял по её смущению и по той спешке, с которой она попыталась припрятать за зеркало бумажный конверт, что держала в руках. Я тотчас подумал о Витурии и уже не сомневался, что это было его письмо, а встревоженность и расстройство жены еще больше убедили меня в правоте моих подозрений. Дальше терпеть и молчать было недопустимо, ситуация и так уже вышла из-под контроля, а



содержимое письма со всею очевидностью должно было доказать, что самое худшее уже случилось.

От назревавшего крупного скандала спасло неожиданное, словно из дешёвой пьесы, появление супруги градоначальника, когда дверь в нашу гостиную внезапно отворилась и прислуга объявила о прибытии важной особы. На пороге возникла чересчур шумная и эмоциональная дама, она вошла уверенно и деловито, пронося за собою шлейфом густой аромат восточных духов. Целью её визита, как выяснилось, было желание продемонстрировать моей супруге свою новую пелерину с отделкой из перьев гималайского монала. Христина была вынуждена её принять, в то время как я, сославшись на неотложные дела и желание оставить дам наедине, удалился в соседнюю комнату, где незаметно для всех извлёк и вскрыл конверт... Руки мои дрожали, пока я разворачивал письмо. Каким же было моё удивление, когда, вместо записок любовника, я наткнулся на несколько платёжных счетов за шёлковые ткани, шляпки, ленты и всякую мелочёвку на общую сумму в две тысячи семьсот драхм. Сумма, конечно, была немалая, но значительно большим было моё облегчение, которое я вдруг испытал, получив достоверные свидетельства о том, что поторопился назвать себя Халдуповым сотоварищем. В своей искренней и переполняющей меня радости я был подобен осуждённому, что приготовился услышать себе смертный приговор, а вместо этого получает всего лишь денежный штраф! В таком приподнятом душев-

ном настроении я ожидал свою Христину, и, когда она вернулась в комнату – несколько подавленной и настороженной, с намерением признаться мне во всём начистоту, предвкусывая лишь упрёки и нарекания, – я воодушевлённо выслушал её, повторяя, словно заклинание: "Прошу тебя, не переживай!" Воображаю себе её изумление: попробуй найти вразумительное объяснение безмерному восторгу и веселью супруга, когда ты только что ему сообщила, что в несколько дней умудрилась потратить ваш полугодовой семейный бюджет.

Начинало вечереть, и нам захотелось прогуляться вдоль моря. Христина пошла к себе собираться, но погода внезапно испортилась: со всех сторон засверкали молнии и небо разразилось проливным дождём. Я зачарованно сидел у окна нашей гостиной, наблюдая за жёлтыми потоками воды, стремительно стекающими с гористой части острова и увлекающими за собой в мутно-грязную вскипающую дождевую массу всё, что встречалось на её пути: сухие листья, мандариновую кожуру, разбитую глиняную посуду, рваную обувь, птичьи гнёзда и дохлых мышей. Я был всецело поглощён зрелищем, но вдруг всё померкло перед глазами, и я ощутил нежно-тёплые руки Христины у себя на лице – она вернулась, отчаявшись дожидаться улучшения погоды. Обнаружив меня одиноко сидящим в раздумьях, подкралась ко мне совсем близко, задумав подшутить.

Отчётливо вспомнилось прошлое... благодаря грозе мы

в первый раз после нашего возвращения оказались наедине друг с другом. Когда она приподняла свои ладошки, чтобы посмотреть мне в лицо, мой пристальный и испытующий взгляд оказался настолько красноречив, что даже смутил её на мгновение: щёки Христины вспыхнули румянцем, но её глаза засветились и улыбнулись мне в ответ, ещё через секунду она многозначительно подошла к двери и заперла её на ключ, потом присела передо мною на диване и лёгким кивком подозвала к себе. Наши души и сердца упивались взаимностью, а дождь лил всё сильнее и сильнее. За окном сверкало, шквалистый ветер угрожающе выл и крошил старую черепицу, и непрерывные раскаты грома с треском, гулом и рокотом разливались по земле, приводя в смятение всё живое вокруг. Под неутихающие сипы и стон непогоды пылкая страсть и отрешённость интимных монологов сменялись продолжительной негой и беззвучным возлежанием в обнимку, бок о бок. Хотелось мне того или нет, но сама судьба вдыхала романтические чувства в мой сокровенный мир, и тщетно я пытался сопротивляться, ведь неизменно лучше довериться жизни такой, какая она есть. За какой-то недолгий час моё отвращение ко всякой романтике впервые потерпело оглушительное фиаско.

Невольно сравнивая ту безмятежную, повседневную радость, что я ощущал на острове Кеа, с дрожью предвкушения, овладевшей мною, когда после пятнадцати дней разлада и отчуждения Христина пригласила меня присесть с нею ря-

дом, я в полной мере осознал, что степень блаженства и упоения, которые возможно вкусить, находясь возле женщины, в полной мере соотносимы с той мучительной тревогой, душевным смятением и палящей ревностью, что предшествуют вашей близости с нею. Только пройдя через раскалённое жерло этого чистилища возможно попасть в святая святых непостижимого и беспредельного наслаждения! Этот путь вам не сможет показать ни стыдливая дева, ни обожающая вас любовница, даже горячо любящей супруге всё это будет не под силу, но лишь женщине честолюбивой, иногда своенравной и не всегда безупречной.

Бальные вечера продолжались с ещё большим шиком, но меня это уже мало волновало, и спал я теперь великолепно. К слову сказать, светлые кудри и вздыхания сентиментального Витурия быстро поднадоели моей Христине, и им она предпочла чёрные усы, военную выправку и армейскую прямоту начальника службы городской охраны. Однако уже через несколько дней он показался ей слишком прямолинейным, мужиковатым по сравнению с харизматичным французским послом, исключительная галантность, одарённость и благородные манеры которого приводили её в неопиcуемый восторг. Впрочем, и этому недолго было царствовать: очень скоро элегантность французского фрака затмил блеск наград и лоск мундира английского военного атташе. Затем настал звездный час итальянца Регальде – импровизатора из Новары, что многие годы странствовал по всему Средизем-

норморью в поисках денег и славы и, наконец, почтил наш Сирос своим присутствием. Целый месяц Христина умудрялась морочить старика и так свести его, несчастного, с ума, что тот отчаялся добиться её, сочиняя элегии, а потому напоследок прилюдно пропел свою лебединую песнь – оду "К Сирене с острова Сирос" – весьма скандального содержания, высмеивающую наши пороки и, в особенности, незнание грамматики итальянского... Касательно меня могу сказать, что чувствовал себя комфортно, наблюдая за тем, как вдруг появляются и неизбежно исчезают её фавориты, словно мерцающие звёзды на утреннем небосклоне.

Если уж женщина замыслила покорить собою весь мир, разве найдется у неё время, чтобы влюбляться по-серьёзному? Постепенно я начал свыкаться с беспримерным честолюбием своей жены и даже стал воспринимать это как собственную гарантию от ещё больших несчастий – своего рода супружеский громоотвод или, если съязвить в духе Халду-па, чертовски надёжный "отрогоотвод"! Единственное, что меня продолжало расстраивать, так это отсутствие у Христины достаточного времени для меня, и я уж перестал надеяться, что она освободится прежде, чем начнутся великопостные говения, но внезапно все развлечения прекратились из-за объявленного траура в связи с кончиной престарелого Мишеля Лиона Легамена, у которого по всему острову было множество родни. Вряд ли кто возьмётся утверждать, что любимые им внучатые племянники, унаследовавшие по его

смерти аж целый миллион, скорбели о преставившемся старике с большим почтением, чем любой из нас, присутствующих на похоронах.

Как всякое зло, так и добро не ходит в одиночку. По прошествии нескольких дней, как я сбросил с себя оковы и кошмары бальных вечеров, вздумал я проверить публикацию лотерейного розыгрыша по пяти гамбургским билетам, что достались мне в наследство от моего дяди. Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что один из моих номеров стал третьим в списке выигрышей на сумму в пятьдесят пять тысяч флоринов – это же более трёхсот тысяч драхм! Помчался я тут же к Христине, чтобы возвестить ей столь радостное для нас событие, но её, к счастью, не было дома – вот именно "к счастью", ибо это дало мне шанс успокоиться, прийти в себя и время хорошенько все обдумать. Куда важнее, чтобы она испытывала ко мне чувство признательности, осознавая, что, вопреки своим возможностям, я стараюсь угодить дорогой жене, а не от того, что сделался вдруг богат и готов теперь потакать её прихотям! Сохраняя всё в строгой тайне, через пару дней, под вымышленным предлогом обследоваться у врача, я отправляюсь в Вену: для Христины решил сослаться на проблемы с желудком – тот самый выдуманный мною недуг, которым я пытался скрыть свои душевные терзания. Из Вены я прямиком направился в Гамбург, где получил свой выигрыш и вложил его в облигации, а ещё через три недели вернулся домой с многочисленными

нарядами и украшениями, которых накупил сверх того, что мне заказала Христина. Тихо наблюдая за её восторгом, пока она открывала бесчисленные пакеты и коробочки, в душе я наслаждался своей сметливостью и предусмотрительностью: ведь все эти подарки могли бы показаться ей естественными и оправданными, узнай она от меня о щедром подношении судьбы! Одно из самых необходимых условий гармоничной жизни с женщиной, знающей себе цену, – это умение скрывать от неё две вещи: девять десятых своей к ней любви и как минимум половину своего достатка.

Мне не хотелось поражать воображение окружающих демонстрацией нарочитой роскоши, поэтому я предпочёл негромко позаботиться лишь о качестве нашей жизни. Первым делом я уволился со службы, объяснив это возможностью работать на самого себя и перспективой обеспечить сравнительно больший доход семье. Затем, ухватившись за случай, – у нас потекла крыша – удачно использовал его как основание для грандиозного ремонта во всем доме, при этом для росписи стен нанял беженца из Италии по имени Орсато, работавшего прежде сценическим художником в Ла Скала. Сделанный им в спальне Христины декор с восточными мотивами полностью преобразил комнату и был столь виртуозным, что напоминал покои Заиры из оперы Беллини в день её миланской премьеры. Поразительное сходство и общее впечатление усиливали тканые занавески из анатолийской Прусы, диван с покрывалом из расшитой золотом парчи,

предназначавшейся некогда для пошива архиерейских облачений, две скамьи с перламутровой инкрустацией, персидский мангал и, наконец, крестильная серебряная чаша, переделанная в цветочную вазу. Всё это наш декоратор раздобыл во время своей поездки на остров Наксос – там ещё может посчастливиться с подлинными артефактами былой франко-турецкой роскоши. Используя свою безупречную способность сочетать цвета и глубокие познания законов освещения, он так изящно связал все предметы в интерьере, что результат не столько подавлял своим масштабом и грандиозностью, сколько подкупал притягательностью и очарованием. Безусловные таланты и даровитость этого многоценного человека оказали мне превеликую услугу, переманив к нам, или, как это привычнее сказать на Сиросе, "оженив" на нашем доме архиерейскую повариху родом из Милана, чьи равиоли, креветочный суп и постное жаркое из морского петуха были знамениты на все Киклады. Негодование и горечь Преподобного были столь серьёзны, что он не преминул обжаловать в вышестоящих инстанциях наш незаконный "прозелитизм".

Общие хлопоты по украшению личного гнёздышка Христины лишь на какое-то время отвлекли её внимание от неустанных забот о своём, так сказать, оперении. Однако её хозяйское настроение я всячески старался поощрять разного рода подарками, способными, на мой взгляд, усилить её интерес и хорошо развлечь. Среди прочих, это были кусты



пышных камелий для нашего сада; покупка стереоскопа с разнообразными картинками; занятия по вокалу; приобретение нового пианино, коллекций марок и даже ангорского кота. Все эти подношения она принимала с большой признательностью и искренним восхищением. Как-то раз, поинтересовавшись из любопытства стоимостью серебряных чайниц, которые я подарил ей на именины, Христина воскликнула с искренним огорчением:

– Ах, боже мой, такие деньги! На эти же шестьсот драм я могла бы заказать себе велюровое платье!

– Так в чем же дело? Закажи платье, – не задумываясь, отозвался я.

Вне себя от радости Христина поцеловала меня в обе щеки и побежала делать свой заказ. Её страсть к нарядам была неизменна, но, к счастью, у меня доставало средств потакать любым её желаниям, и, как оказалось, я был абсолютно прав, полагая, что смогу обратить это обстоятельство в собственную пользу.

Ко всему прочему, я подписал Христину на модные французские журналы, типа "Парижанка" и "Дамский каприз", из которых она выяснила для себя, что подлинная роскошь будничного женского туалета не в атласных или муаровых сорочках и ситцевом нижнем белье, как это принято у жительниц Сироса, а в умении "скрывать" за внешне скромными тканями далеко не дешёвые рубашки, изысканно отделанные шёлковыми тесёмками, лентами и завязками. Именно

такой: изящной и прекрасной, настоящей богиней, Христина отдыхала в своей расшитой серебром и золотом спальне, словно в собственном храме, где руками искусного мастера для каждого предмета и украшения, для каждой драпировки была определена их особая, сакральная роль, где в дорогой кадилнице возносилось освежающее благоухание терпкого алоэ и, переливая небесно-синими рефлексамии, горела моя васильковая лампада. В своих предпочтениях я не собирался ограничиваться только сине-голубыми оттенками, но, подобно Дарвину, описавшему природное разнообразие, мне было приятно испытать влияние цвета на собственную фантазию и эмоции: оказалось, что неги сладких гранатовых тонов или романтика оттенков морской волны не могли сравниться с возбуждающими страсть золотисто-оранжевыми отблесками от стекла древней храмовой лампы.

Под стать святилищу, со всем великолепием его внутреннего убранства, стали роскошные архиерейские обеды, что накрывала нам миланская повариха. К неоспоримым достоинствам её кулинарного мастерства можно отнести бережно хранимые каноны и благочестивые традиции христианской кухни, которые искусница привнесла в нашу жизнь: при варке яиц, к примеру, чтобы не передержать их на огне, она взяла за правило обязательное двукратное исполнение Ave Maria; самым ответственным образом подошла к выбору рыбака, от которого строжайше потребовала умерщвлять иголкой каждую выловленную сетями барабульку, дабы предсмерт-

ные судороги и агония животного не успели бы испортить горечью вкус нежного рыбьего мяса; крупную синагриду всегда варила с добавлением сока незрелых апельсинов и с большим количеством специй и трав; индюшку, или куру, как называют её жители Сироса, повариха откармливала мускатным орехом в течение трёх дней, прежде чем зарезать птицу. Среди истинных её шедевров я бы назвал блюдо, придуманное некогда Папой Климентом XIV Ганганелли и получившее название «Каппоната Магро» – это был восхитительный салат, который заправлялся устрицами, мидиями, креветками и ещё множеством дивных морепродуктов. Хотя я и считался жителем Сироса, но чревоугодие и обжорство не были свойственны мне, при этом я весьма ценил вкусные обеды за их праздничный и душевный настрой, что позволяло напрочь забывать о неприятностях, сохраняя всё внимание лишь на предметах, достойных наслаждения. Подобного рода состояния знакомы, видимо, и тем, кто употребляет опий или гашиш, однако это банальное и нездоровое влечение принципиально отличается от того блаженства, что дает пышный обед, наполняющий жизнь яркими красками и умиротворяющий все известные нам чувства: тепло очага, звонкий отблеск серебряной и хрустальной посуды, букеты цветов с их ярким благоуханием, морской аромат устриц, два-три бокала старого полнотелого вина и присутствие молодой жены, вид которой тебя будоражит, а игривость её глаз тихонько манит и завораживает.

С наступлением зимы в нашу жизнь вернулись долгие бальные вечера, а вместе с ними и переживания, болезненно раздражающие и глубоко бередящие моё сознание. Их благополучно уравновешивало и постепенно вытесняло некое чувство стабильности и уверенности, но не столько в любви и в безупречной добродетели моей супруги, сколько в её исключительном честолюбии или даже эгоизме, способном отвратить любую из возможных напастей оказаться под чьим-либо опасным влиянием. Нет, не скромные горлицы и нежные голубки составили бы компанию моей жене, но куда очевиднее, что она всецело принадлежала к когорте роскошных цесарок. Христина, по сути, переживала только об одном: как можно основательнее поразить воображение соотечественников своими бесподобными нарядами и покрепче привязать к себе шлейфом многоликую свиту поклонников и ухажёров. А посему заезжие иностранцы не вызывали у меня ни страха, ни опасений, коль скоро вид их всё более напоминал мне потёртых жизнью, помятых и пощипанных птиц, а поэтические признания нежных и пылких юношей смахивали на любовные двустушия, что печатались в изобилии на фантиках от шоколадных конфет. В конце-то концов, без ложной скромности, разве мог я усомниться в своих незаурядных супружеских талантах: в умении находить компромиссы, притворяться, терпеть, проявлять снисходительность и, в заключение, быть готовым оплачивать любые денежные счета.

По правде говоря, я так и не научился равнодушно наблюдать за тем, как в стороне от всех, словно украдкой, прикрывшись веером, она вдохновенно шепчется о чём-то с очередным из своих кавалеров или как играючи поглаживает обнажённые плечи моей супруги золотая бахрома офицерских эполет. Но более всего меня изводило её страшное легкомыслие, та непосредственность, с которой она желала мне "спокойной ночи" по возвращении домой. Однако мой жизненный опыт научил меня смотреть на вещи с разных сторон, поэтому я прекрасно понимал, что будь со мною она хоть чуточку нежнее, то вряд ли и я любил бы Христину всё так же страстно: её физическая склонность к флирту, а моя – к ревности и беспокойству позволяли моему чувству сохраняться всё время на взводе. Моя исконная точка зрения о рецепте безмятежного счастья уже давно потерпела крах, а вместе с тем я пришел к осознанию того, как много значат душевные терзания для упоительной страсти. И несправедливо мне жаловаться на её женские выходки – она интуитивно всё делала так, как и должно, дабы никогда не иссяк вкус её ласки и поцелуев. А привязал бы я Христину к себе как законную супругу, у меня бы не было ни шанса заполучить в её лице изумительную любовницу.

Обо всём этом я мысленно рассуждал в один из тихих предпасхальных вечеров, закурив трубку на балконе собственного дома после богатого ужина, и искренне недоумевал о тех, кто постоянно жалуется на свою судьбу и на весь

мир, что скроен он для них так неуклюже, словно нелепые болезненные шипы на прелестных розах. Зачем же мне роптать и гневить Бога чёрной неблагодарностью: самое время вознести ему хвалу, ибо я молод, мне нет и тридцати, но могу похвастать тридцатью тысячами ежегодного дохода, тридцатью здоровыми зубами, крепким желудком, женой, что с лёгкостью воплотит любую мечту сибарита, а еще кухаркой, что запросто удивила бы самого Шарля Талейрана. Я чувствовал, как бьет ключом и пульсирует моя жизнь с добрым застольем и вкусными блюдами, окутанная кружевами и пелеринами, украшенная нежным сиянием восторженных женских глаз и волшебным мерцанием ярко горящих лампад.

*1895 г.*